

Владислав
КРАПИВИН

ТОПОТ ШАХМАТНЫХ
ЛОШАДОК

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ:

РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Буквоед



Владислав Петрович Крапивин

Нарисованные герои

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153673
Крапивин В. Нарисованные герои: Геликон плюс; 2005
ISBN 978-5-93682-205-6

Аннотация

"Лоскутная" повесть "Нарисованные герои", состоящая из фрагментов ранних неопубликованных произведений

Содержание

***	4
Облака возвращаются с запада	8
Преодоление	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Владислав КРАПИВИН

Нарисованные герои

«Лоскутная» повесть

В студенческие годы я где-то прочитал, что знаменитый Александр Дюма-отец иногда запутывался в судьбах героев своих многочисленных романов. Случалось, что, угробив какого-нибудь шевалье на войне или на дуэли, знаменитый автор «Мушкетеров» являл этого персонажа – живехонького! – в следующих частях романа или в другой книге. За это он, естественно, подвергался справедливым нареканиям со стороны читателей и критиков.

Дабы избавиться от нареканий, Дюма изобрел оригинальный способ. Героев будущих книг он рисовал на бумаге, затем вырезал фигурки и складывал в папку с названием романа. Когда очередной персонаж на страницах рукописи отправлялся в мир иной, Дюма комкал фигурку и бросал в мусорную корзину. Не знаю, сожалел ли он при этом об окончившем брэнное существование герое (я бы сожалел, потому что к своим героям привязывался крепко).

Способ Дюма-папы мне показался достойным подражания. Конечно, путаница с персонажами мне в ту пору не грозила – при моем-то «литературном багаже» в несколько рассказиков! Но возможность всегда иметь перед собой тех, о ком пишешь, была соблазнительной. И в моих студенческих тетрадях стали появляться космонавты, рыцари, пираты, бродячие коты и мальчишки. Мальчишек было больше всего. Именно им в ту пору (да и потом) было посвящено большинство моих рассказов, в которых я отдавал дань недоигранному детству...

Однажды мой однокурсник Валерий Кичин, глянув через локоть, которым я пытался прикрыть рисунок, хмыкнул:

– Опять изображаешь рекламных мальчиков...

Мы с Валерием учились в университете вместе все пять лет и были друзьями. Такие отношения, однако, не мешали нам вставлять друг другу иронические шпильки. Но последняя показалась мне чересчур «шпилистой».

Это у меня-то «рекламные мальчики»? Где?

Может быть, вот этот остроносый курчавый Лёвка Штейн с вылезшей из разношенного свитера тонкой шеей? Может быть, стриженный под машинку хулиган Ноздря с блатной ухмылочкой? Или насупленный от всех случившихся за день обид второклассник Виталька в растоптанных валёнках и с портфелем, надетым через плечо на шнурке?..

Или вот этот девятилетний Севка с сердитым лицом? Он расставил ноги, отчаянно вцепился в отломанный от велосипеда руль, который кто-то (на рисунке не видно, кто) тащит неизвестно куда?

– Чем этот ребенок оскорбляет твои эстетические чувства? – свистяще прошептал я.

Валерий тем же шепотом сообщил, что об оскорблении речь не идет, но если рассказ такой же, как этот его нарисованный персонаж, то в классики меня запишут не скоро.

– Прочитал бы сперва, а потом судил – кого, куда и когда запишут... Кстати, может быть, пригодится на телевидении, где ты, по слухам, тайно подрабатываешь...

– Не тайно... Давай, – сказал Валерий, ибо лекция, на которой мы сидели, была скучна, хотя преподавателя все любили.

Надо сказать, что мы на курсе часто показывали друг другу свои «опусы», невзирая на то, что от «дружеской нелиперприятной критики» порой дым шел из ушей...

Я сунул «месье Кичину» свой отпечатанный в студенческом машибюро рассказик на семи страницах. Валерий одолел его быстро и стал отрешенно смотреть перед собой. Неужели столбняк от отвращения? Хотя бы поглядел на автора, хотя бы словечко сказал...

Кстати, в рассказе речь шла о третьекласснике, которому дворовые приятели из собранных «с миру по нитке» деталей сконструировали велосипед – чтобы Севка не сидел дома, когда остальная компания едет купаться или в лес. Севка сперва не знал о готовящемся сюрпризе и заподозрил, что ребята просто так, для пустяков, растаскивают из кучи собранного металлолома разные детали. Потом, конечно, все выяснилось и кончилось благополучно...

Много переговариваться на лекции было неловко – Борис Самуилович Коган, что-то вещавший нам о специфике журналистской деятельности, на любителей болтовни поглядывал укоризненно. К тому же он собирался быть оппонентом на скорой защите моей дипломной работы (рассказ, кстати, как раз предназначался для нее).

Я открыл тетрадь на чистой странице и обратился к коллеге Кичину письменно.

Далее идет сохранившийся до нынешнего дня рукописный диалог двух пятикурсников, сидящих в университетской аудитории недалеко друг от друга.

Я. Отзыв может быть уничтожающим, но он должен **быть**, иначе на кой черт ты читал?.. Кстати, завтра к 10 часам в парк на кросс. Чтобы тело и душа...

ВАЛЕРИЙ. Во-первых, завтра я не могу кросситься – у меня репетиция. И тело и душа заняты.

Во-вторых, рассказ – не думаю, чтобы можно было использовать на телевидении – его не поставишь, это понятно. Что касается рассказа вообще, то, как обычно, хороший, вкусный язык, но сам сюжет кажется мне придуманным. Обычно ты пишешь лучше. Язык кое-где надо подправить – отдельные фразы выпадают из общего стиля... Читается с удовольствием...

Я. В чем удовольствие? Ты необъективен. Язык у меня как раз отвратительный, я это вижу... Что касается сюжета, вывод один: надо их придумывать, а не «брать из жизни», я иду на это сознательно... На телевидении не пойдет, это верно, т. к. нет действия. Еще о сюжете: ты уже большой мальчик, а я ориентируюсь на маленьких...

В следующий раз прошу:

- 1) Отвечать сразу.
- 2) Быть более объективным: поменьше «удовольствия при чтении».

ВАЛЕРИЙ. Решительно отметаю инсинуации относительно необъективности. Язык твой мне нравится и все тут. А сюжет все равно сусальный. Это что? Рождественский подарок? Умилительно, но неправдоподобно. Это же в лоб: будьте, дети, добрыми, внимательными, заботливыми. Смотрите, какие хорошие мальчики в рассказе: из кровати лисапед смастерили и своему угнетенному товарищу подарили.

Я. Кичин! Вы плохо думаете о людях! Это не рождественский подарок, а поступок, вызванный необходимостью и слегка завуалированный вполне естественным стремлением ребят к таинственности. Я обвиняю Вас в незнании психологии детского коллектива.

Я здесь не призываю к добру и человечности. Ребята еще не успели испортиться, они и так достаточно человеки. Сэр! Как Вы рано стали взрослым. Но у детей лбы крепче, они не поддаются щелчкам взрослого прагматизма.

ВАЛЕРИЙ. Вы забываете, сэр, что мы живем во времена спутников. И потом, если Вы считаете детей твердолобыми и после этого себя – знатоком детского коллектива – я умываю руки. Заявляю официально: дети не поймут всей глубины Вашей непостижимой мысли и сочтут, что имеют дело с ребенком. А Вы, если не ошибаюсь, вышли из голубого возраста велокроватей.

Я. Сэр, я подозреваю, что Вы, будучи в голубом возрасте, чаще ездили на пианино, чем на велосипеде...

Последняя фраза – намек на то, что Валерий закончил музыкальную десятилетку и, как мне тогда казалось, в недавнем детстве был домашним мальчиком.

Письменную полемику прервал звонок, извещающий о конце занятий. Нашу дискуссию мы продолжили устно. Я доказывал, что никакой сусальности в описании ребячьего бескорыстия нет. Вспоминал, что классе в четвертом-пятом катался на коньках-снегурочках, подаренных мне кем-то из приятелей. Говорил о своем товарище Альке, который делал фотоснимки трофейным аппаратом, отданным ему «за так» соседом-семиклассником. Повествовал, как в Первомайский праздник наша уличная компания оделяла принесенной из дома стряпней живишную в хибарке супружескую пару (как сейчас догадываюсь – изрядных пьяниц). Рассказывал, как дарил мне марки и монеты из своих коллекций мой сосед-приятель Пашика Шаклин. Ну и так далее. А то, что сюжеты надо не слепо брать из действительности, а «трансформировать по-своему», я подчеркнул снова. Мол, на то и существует литература...

Спор кончился через сорок с лишним лет. Совсем недавно (я пишу это в январе 2003 года) Валерий Семенович Кичин – известный столичный журналист, знаток театра, кино и телевидения – заехал ко мне в гости. Мы не видели друг друга «целую вечность», но встретились так, будто расстались вчера. Каждый заверил другого, что «ты почти такой же, как тогда». Начали, конечно, вспоминать студенческое время, я вытащил с архивных полок снимки и тетради. Отыскался и наш письменный диалог. И, перечитав его, Валерий Семенович самокритично признал:

– Ты был совершенно прав относительно сюжетов. Ты был мудр уже тогда. Автор должен не копировать действительность, а творить ее... – При этих словах мы сдвинули рюмки с коньяком, уже не первые, чем, возможно, и объяснялся некоторый пафос нашей беседы...

Ну, а при чем здесь нарисованные герои? У меня есть слабость – увлекшись каким-то воспоминанием, далеко уходить от основного сюжета. Теперь возвращаюсь к картинкам и хочу сказать, что рассказ с Севкой (предварительно изображенным в тетради) благополучно проскочил в диплом, затем в несколько моих ранних сборников, после чего я никогда его не переиздавал. Как и многие другие рассказы той поры. А года два назад выволок из архивов и поместил в один из томов недавнего собрания сочинений. Потому что мне стало жаль их.

Так я писал в предисловии к циклу тех давних, ученических рассказов (некоторые из них до той поры не были даже напечатаны).

Жаль было не свою работу, не потраченные усилия, а персонажей. Тех девчонок и мальчишек, которые были друзьями моей юности. Они казались мне живыми. Когда я рисовал их – то словно делал фотографии. Я жил когда-то вместе с ними в придуманном мире, который мне хотелось сделать немного добрее, чем настоящий. Я благодарен был им за

те радости и ту бодрость, которую они мне дарили. И чувствовал, что несправедливо прятать этих ребят в забвении навсегда...

Я исправил ошибку, напечатав наконец самые ранние рассказы. Но исправил не полностью.

Дело в том, что упомянутые рассказы при всех их недостатках были все же законченными. То есть написанными от начала до конца. А сколько их незавершенных (ох какое драматическое слово!) осталось в тетрадях, где полагалось строчить конспекты лекций, а я писал планы и отрывки будущих рассказов и повестей (и рисовал их героев).

Почему я не закончил эти вещи?

Сейчас, перечитывая написанные карандашом страницы (почерк тогда был еще вполне разборчив), я вижу, что почти каждый незаконченный рассказ или повесть могли получиться не хуже тех, что я заканчивал и печатал. Но тогда казалось – не выходит, никуда не годится, беспомощные сюжеты и косноязычность... А, скорее всего, просто не хватало терпения, умения заставить себя довести дело до конца, не было уверенности в своих авторских силах. С одной стороны творческие сомнения – вещь полезная. С другой – опасная, если ими терзаться ежедневно. Я терзался, и в результате оставлял одну незаконченную вещь за другой. В общем-то, невелика потеря для литературы. Но оказалось (потом, через много лет), что потеря есть для меня, для автора. Потому что персонажи недописанных рассказов и повестей стоят передо мной молчаливой шеренгой и смотрят с укором: «Что же ты? Мы были твоими друзьями, ты жил среди нас, разговаривал с нами, играл в наши игры, болел нашими горестями, радовался с нами... в конце концов существовал благодаря нам, потому что мы были рядом в трудные минуты. А потом нас бросил... Обещал нам друзей-читателей, а на самом деле оставил в неизвестности...».

Смешно, да? Чтобы литератора на старости лет грызла совесть за людей, которых никогда не было. За тех, кого он в молодые годы рисовал в тетрадках... Но вот так.

Я подумал, что самый правильный выход – перечитать прежние отрывки, планы, куски текстов, недописанные главы и соединить их как-то в одну вещь (повесть, воспоминания, очерки – что угодно). Хотя бы для себя. А, может быть, кому-то из читателей (тех, кто шлет мне письма и спрашивает: «Как вы начинали, как учились писать?») это будет тоже интересно. Хоть кому-то...

По крайней мере, не будет в душе виноватости, когда открываешь обветшавшие тетрадки и видишь там нарисованных Андрюшку, Олега, Сережу, Галку и моряка-космонавта по прозвищу Шкипер, таинственным путем попавшего на комическую станцию «Гнездо Нептуна»...

Облака возвращаются с запада

План этой повести написан в тетради с твердым, обтянутым желтой тканью переплетом, на котором стоит дата – 60 г. Судя по всему, это конец года, потому что там же черновики предисловия к дипломной работе, которую я защитил 16 марта шестьдесят первого года. Здесь же наброски маленькой повести «Я иду встречать брата», которую откладывал, откладывал, а затем написал за три дня... Ее-то написал, а вот «Облака...» так и остались в черновиках, набросках и отдельных эпизодах.

Я задумывал повесть о мальчишках послевоенного времени. Причем, это были не мои сверстники, а ребята постарше, хотя из той же компании, в которой крутился и я, будучи первоклассником, – четвероклассники и пятиклассники вроде моего соседа-друга Паши Шаклина и его друзей.

В шестидесятом году все это было еще свежо в памяти – сорок шестой год, когда голод и неуют, оставшиеся от недавней войны, смешивались с радостью Победы и с горечью тех семей, в которые не вернулись отцы и сыновья...

Сделав себя чуть постарше, чем был в сорок шестом на самом деле, я повествовал о событиях от первого лица. Точнее от лица пятиклассника Митьки Вехова.

А начиналось все так...

Новичок появился в классе через пять минут после звонка.

– На первый раз мог бы и не опаздывать, – сказала историчка Эра Васильевна, которую с легкой руки старшеклассников все звали Эпохой.

Новичок промолчал.

– Садись с Веховым, – ткнула пальцем в мою сторону Эпоха.

Он пошел через класс. Тридцать две головы медленно поворачивались вслед за новичком. Шел он торопливо, чуть наклонив голову с темными, давно нестриженными волосами. На улице подтаивало, и большие подшитые в Алёнки мальчишки оставляли мокрые следы.

Я подвинулся. Новичок сел, сунул в парту потрепанную полевую сумку с веревкой вместо ремня и, подперев кулаком подбородок, стал слушать, что говорит Эпоха. Я сбоку видел его плотно сжатые губы, бровь, рассеченную маленьким белым шрамом, чуть прищуренный глаз.

Прошло несколько минут, и всем надоело разглядывать новенького.

На парту мне прыгнул скомканный клочок бумаги. «Митька, в животе пищит. Кусочка нет?» Я обернулся и помотал головой. Женька опустил глаза. Я посмотрел в другой угол класса, где сидел Лёвка Штейн, но вспомнил, что и он пришел сегодня без завтрака. Я вынул складной ножик с ручкой из коричневой пластмассы. Мне подарили его моряки из военного эшелона. Я положил нож на ладонь и ткнул локтем соседа.

– Хлеб есть?

– Ну? – спросил он.

– Меняем?

Он повернулся и осторожно провел ногтем по гладкой рукоятке. Потом сказал:

– Не надо.

– Не будь скотом, – прошептал я. – Женька Сергиенко потерял карточки. У них вся семья впроголодь...

Мне показалось, новичок не слушал. Но через несколько секунд он вынул из под парты и положил на колени сумку. Он достал из сумки плоский газетный сверточек. В нем оказались два ломтика хлеба, пересыпанные сахарным песком. Сахар растаял, газета промокла и расползлась.

– Возьми.

Я взял хлеб и протянул новичку ножик.

– Не надо, – снова сказал он.

Я разозлился.

– Нам *так* тоже ничего не надо. Понял?

– Кому *вам* ? – почему-то удивился он. Громкий голос Эпохи прервал спор.

– Вехов и новенький! Я выгоню! Что у вас под партой?

Мой сосед встал.

– Я достал учебник, – соврал он.

– Не время доставать, – учебник сказала Эпоха. Кстати! Как тебя зовут?

– Александр.

– А фамилия?

– Реген.

– С буквой «Т» на конце? – мигнув, спросила она.

– Без буквы «Т» на конце, – сказал новичок.

– Странно... Ты не эстонец? – зачем-то спросила Эпоха.

– Немец.

Три десятка лиц снова повернулись в нашу сторону.

Были у нас в классе украинцы, белорусы, евреи. Были таджик и латыш, поляк и калмык. Многих война закинула в наш сибирский городок. Но немцев мы видели только пленных, тех, что работали на стройках.

– Садись, – сказала Эра Васильевна.

...– Так и не взял нож? – спросил Лёвка Штейн, когда мы втроем возвращались из школы.

– Да. И хлеб обратно не взял...

– Мне сеструха из заводской библиотеки книжку приносила, – вдруг сказал Женька. – Про немецкого пацана. Он в Берлине против фашистов боролся. Мировая книжка...

– А «реген» по-немецки дождь, – сказал непонятно зачем Лёвка. Мы это и так знали. В этом учебном году все начали учить немецкий, и каждый помнил несколько десятков слов...

Через три дня после появления в классе новичка вернулся Борька Носов. Он был исключен из школы на неделю за курение на уроке, и теперь эти семь дней истекли.

Вместе с Борькой вернулся после очередной простуды Олег Стальский.

– Ноздря и Кнабе нарисовались, привет – сказал кто-то, когда длинный Борька и маленький Олег показали в дверях.

Борьку звали Ноздрей из-за фамилии. Олег получил свое прозвище за ярко-зеленый костюмчик, который прошлой осенью привез ему из Германии отец, военный врач. В первый же день, увидев на Олеге кургузый пиджачок с накладными карманами и штанишки выше колен, Алька Головкин из шестого «б» сказал:

– Настоящий дэр кнабе аус Дойчлянд. – Он это безобидно сказал, хотя и снисходительно (вы, мол, еще почти не нюхали немецкого, а мы уже). И добавил: – Фэрштеен?

К его разочарованию Лёвка сказал, что «фэрштеен» и объяснил нам, что «кнабе» – это «мальчик» по-немецки.

Здесь меня дотошные читатели могут упрекнуть: мол, с именами Ноздря и Кнабе (точнее «Дыркнаб») они встречались. Да, в повести «Тень Каравеллы». Дело в том, что, оставив мысли закончить «Облака...», я потом немало чего понадергал из этой недописанной вещи для других повестей и рассказов. (Не пропадать же строчкам и деталям, которые тогда мне казались более или менее удачными.) Так случилось с разными моими «неза-

вершенными опусами». И я заранее прошу прощения за те случаи, когда теперь читатель станет на этих страницах обнаруживать что-то знакомое. Надеюсь, что это будет не столь уж часто.

Кнабе нередко доставалось от ребят. Дразнилки, пинки и подзатыльники. Особенно изводил его Ноздря. Скрученными из бумаги пульками он наловчился на уроках попадать из надетой на пальцы резинки несчастному Кнабе по открытым ногам ниже коротеньких штанов. Тот лишь тихонько взвизгивал. Драться он нисколько не умел это знал каждый.

– Дай раз в зубы, больше не полезут, – советовал ему Женька. Но Кнабе дать кому-нибудь в зубы никогда не отваживался.

...Ноздря остановился на пороге, взял Олега за плечо. Тот чуть-чуть согнулся и замер.

– Кнабе, – улыбнулся Ноздря. – Сделай ручкой «хайль». – Говорят, у тебя здесь земляк из фатерлянда.

Стало тихо.

Сашка Реген поднялся их-за парты.

Ноздря, видимо, почувствовал напряженность тишины, неловко ухмыльнулся, отпихнул плечом Олега и, помахивая сумкой, пошел к своей парте. Сашка бросил на нас короткий и какой-то беспомощный взгляд. Потом он шагнул к Ноздре.

– Сядь, Саня, – негромко окликнул его Женька. – Сядь пока...

В дверях появилась Эпоха. Сашка сел и положил голову на парту. Так он просидел весь урок, а после звонка взял сумку и, не глядя на нас, ушел из класса.

– Кнабе! Потом пойдешь с нами, это и тебя касается, – громко сказал Женька.

После уроков мы били Ноздю. У забора, за школьным сараем. Били без правил, трое одного. Кнабе держал сумки – по две в каждой руке. У Ноздри текли из носа две красные струйки. Он махал руками, как мельница, отбиваясь от нас, но закрыться от всех ударов не мог. Он вырвался и побежал. Кнабе кинул ему вслед сумку. Сумка расстегнулась, из нее вылетели истрепанный учебник истории древнего мира и надкусанный ломоть хлеба. Выкапталась печеная картофелина. Это был завтрак, который Ноздря почему-то сегодня не съел. Лёвка все аккуратно сложил в сумку и поставил ее к забору в тающий серый снег.

– Сам виноват, сволочь, – сказал Женька.

Кнабе робко протягивал нам портфели.

– Ты один домой теперь не ходи. Ноздря поймает, кишки наматает на шею. Папа не сможет вылечить.

– А как... ходить?

– С нами ходи, – предложил Лёвка. – Тебе по пути.

– Пусть ходит, – согласился я.

– Пусть, – сказал Женька. – Тротуар широкий...

Вечером Женьку мать не пустила из дома («Нечего шландать каждый раз до ночи!»), а мы с Лёвкой разыскали дом, где жил Сашка Реген. Это был двухэтажный покосившийся дом из темных бревен. Какая-то старуха во дворе показала нам окно Сашкиной комнаты. Мы стали подниматься по темной лестнице. В коридоре пахло пылью и керосином.

По правде говоря, мне сейчас не хотелось встречаться с Сашкой. Будто на нас лежала вина за то, что случилось в классе. Я остановился.

– Ты чего? – спросил Лёвка.

– Слушай... может, он заболел, потому и ушел... Нас сюда никто не звал, а мы премся.

– Какой ты умный, – сказал Лёвка. – Почему я не такой умный? Я давно бы стал профессором.

Он постучал в обитую рваным войлоком дверь. Нас впустила в комнату невысокая худая женщина. На ее ногах я увидел подшитые вАлёнки, в которых приходил в школу Сашка. Женщина сказала, что Сашки нет дома, он ушел с ведрами на водокачку и скоро вернется.

Прежде, чем пройти в комнату, мы долго вытирали ботинки о брошенный у порога мешок.

Потом мы сидели и ждали Сашку и односложно отвечали на вопросы его матери о школьной жизни. Я все время боялся, что она спросит про сегодняшний случай. И, чтобы отвлечь ее, сам задал вопрос:

– А вы издалека приехали?

Оказалось, что раньше они жили в Саратове. Нет, они не были коренными приволжскими немцами. Сашкин отец совсем мальчишкой в пятнадцатом году оказался в армии кайзера, а потом попал в русский плен. И остался навсегда в России.

– А я приехала в Россию с папой и мамой, когда была совсем крошкой, – сказала Сашкина мать. – Потом мы встретились с Карлом и поженились. Он работал в Саратове пекарем. А перед самой войной простудился и умер... А потом умерла Марта, моя старшая дочь. И мы приехали сюда...

Те, кто читает сейчас, наверно, усмехнутся над этим «мы приехали». Понятно, что «их приехали». Но эти строчки писались в шестидесятом году, когда можно было лишь глухими намеками упоминать о мытарствах немцев – жителей Советского Союза во время войны – и уроженцев Поволжья, и тех, кто разными путями оказался в России во время Первой мировой и в двадцатые годы (это были специалисты – инженеры и техники). Были и такие, кто в тридцатые годы бежал от Гитлера (из огня да в полымя). Это было везение, если попадали они не в лагерь, не в тундру, а в такие вот сибирские городки, как наши...

В одной из незаконченных повестей моего старшего брата Сергея рассказывается о дружбе главного героя, шестнадцатилетнего паренька, с немецкой девушкой, высланной из Поволжья. Она была вдохновенной комсомолкой, завидовала Зое Космодемьянской, отчаянно жалела, что ее не возьмут на фронт даже санитаркой. А то, что ее и других немцев переселили в Сибирь, считала мудрой политикой Иосифа Виссарионовича.

«– Что поделаешь, раз война. Ведь и в самом деле могли найтись такие, кто пошел бы на службу к оккупантам. Конечно, немного, но... А переезд был совсем не тяжелым. Каждой семье дали отдельную грузовую машину, на пути были организованы пункты питания...»

Прочитав этот абзац, я посмотрел на брата, как... ну, в общем, посмотрел.

Он пожал плечами:

– Не считай меня идиотом. Когда-нибудь про это напишут все, как было. А пока можно лишь так...

Но скоро он понял, что и пока так тоже нельзя. Никогда нельзя, если нечестно. И повесть осталась недописанной...

А еще я вспоминаю добродушную худую тетку по имени Эльза. Фамилия ее (как мне кажется сейчас) была именно Реген. Она в течение двух-трех месяцев снимала в нашей квартире на улице Герцена проходную комнатушку. Рассказывала, что она эстонка, эвакуировалась сюда из Таллина. По русски Эльза говорила чудовищно плохо. Лепёшку называла, например, – «леблёшка». Наше семейство – брат, сестра, мама и я – поэтому и прозвали ее Леблёшкой. Эльза не обижалась.

«Леблёшки» (а точнее плоские булочки) она ежедневно пекла на кухне в русской печи. Не для себя, для учеников ремесленного училища, которое располагалось от нас в двух кварталах, за городским театром. На такую вот работу она подрядилась. Эти булочки пола-

галошь выдавать «ремесленникам» (видимо по штуке на нос) к ужину. Не помню уж, каждый день или реже...

Когда «леблёшки» созревали в печи, по квартире разносился умопомрачительный запах. У меня – вечно голодного пятилетнего мальчонки – сводило судорогой желудок. Я скрючивался на кровати и утыкался в подушку. Мама раз и навсегда строжайшим образом запретила мне в такие часы отираться на кухне. Объяснила, что надежды на угощение нет ни малейшей, поскольку вся мука у Эльзы на строгом учете. Ни давать посторонним эти булочки, ни пробовать их сама она не имеет права, иначе – суд. Но я продолжал надеяться на чудо: вдруг позовет, сунет теплую «леблёшечку». Тем более что Эльза меня любила и порой баловала то липкой конфеткой, то сухариком...

Чуда не произошло. Произошла страшная вещь: маму вызвали «куда следует». И сказали, что она приютила у себя опасную личность – возможно, шпионку. Оказывается, Эльза лишь выдавала себя за эстонку, а на самом деле была немкой. Маме было сказано, что теперь, дабы загладить свою чудовищную вину, она должна неукоснительно следить за этой «опасной личностью» и регулярно сообщать в органы о каждом ее шаге.

Мама вернулась «оттуда» с белым лицом и на ватных ногах (это сестра потом рассказывала).

Не знаю, был ли у мамы с Эльзой откровенный разговор, но через два дня Леблёшка покинула нас и перебралась на другую квартиру, объяснив, что там комната просторней и печка жарче...

А я до сих пор помню доносившийся из кухни запах свежееиспеченного теста и свои несбыточные мечты – голод в ту пору (да и позже) был моим постоянным чувством.

Впрочем, о голоде я еще скажу позже...

Я слушал рассказ Сашкиной матери и разглядывал фотографию в рамке. Фотография стояла на комодке рядом со шкатулкой из ракушек и пустом флаконом от одеколона «Даиси». На ней были люди в нерусской военной форме. Человек тридцать. Они сидели на камнях и держали между колен короткие винтовки. Лёвка тоже видел снимок. Даже дернул меня за рукав и показал на карточку глазами.

– Здесь брат моего мужа, – услышали мы. – Младший брат. Они сняты в Испании.

– Интербригада? – полупшепотом спросил Лёвка.

– Да... Вот он, брат Карла. Его звали Хайнрих. Генрих...

Я хотел сказать, что Сашка похож на своего дядю. Но сообразил, что это глупо: лицо дяди Генриха было почти неразличимо издалека.

... – А чего же ты не сказал, что твой дядька воевал с фашистами? – спросили мы потом Сашку. Он пожал плечами.

– У всех кто-нибудь воевал, кто-нибудь погиб.

Сашка был прав, и мы не знали, что ответить.

– Он жил в Гамбурге, а когда случился фашистский мятеж, сумел добраться до Испании, – сказал вдруг Сашка. – У них в бригаде были немцы из Германии и Австрии, шведы, норвежцы... Они бы не отступили, но был приказ уходить через горы во Францию. А в горах отряд столкнулся с гитлеровскими десантниками. Почти все погибли, а раненные попали в лагерь.

– А потом? – тихо спросил я.

– Потом – всё. Чего спрашивать... – так же тихо сказал Лёвка. Я промолчал. У Лёвки расстреляли в киевском гетто отца и мать. Сам он остался живой, потому что перед началом войны гостил у дяди и тетки в Ленинграде, с ними и эвакуировался сюда...

.....

Точки стоят недаром. Дальше в тетрадках вместо связного текста – скомканные заметки и небольшие отрывки. Вот, например, страничка о Лёвке.

Мы гоняли футбол четвертый час подряд. Здесь, в переулке, никто не мешал. Лишь изредка на втором этаже старого кирпичного дома открывалось окно и тетя Соня кричала:

– Лёва! Ты вчера уже имел один синяк! Ты хочешь иметь второй синяк?!

Лёвка, у которого было уже около дюжины синяков, не обращал внимания. Он носился по всей площадке, и воздух закручивался позади него пыльными вихрями.

– Лёва! Лучше попроси у дяди Гриши аккордеон и поиграй немного! Тебе не надо забывать музыку!

После игры мы впятером, изнеможенные и счастливые, сидели в лебеде у забора. Наша победа над командой из Зимнего переулка была самая убедительная: двадцать три – одиннадцать. И ноющая усталость в руках-ногах была победной.

Я завязывал на себе красный сатиновый галстук, который снял перед игрой.

– Лишь бы тетушка опять не принялась кричать в окно, – сказал Лёвка. – Каждый раз скандал на всю улицу...

– А ты разве умеешь играть на аккордеоне? – спросил Кнабе, растирая на тощих ногах синие кровоподтеки.

– Я немного. Чуть-чуть, – неохотно отозвался Лёвка.

– Немного! Чуть-чуть! – воскликнула тетя Соня. Она как из под земли выросла рядом. Видимо, шла с рынка, потому что была с кошелкой, из которой торчали перья зеленого лука. – Вы послушайте этого мальчика! Если бы Лёвушка имел аккордеон, он скоро стал бы знаменитым!

Лёвка поморщился.

– Тетя Соня, вы идите, пожалуйста, домой. Я скоро приду.

– Ты в самом деле скоро придешь? Правда?

– Ну, правда, правда...

– А я все же попрошу на сегодня у дяди Гриши инструмент...

Когда она ушла, Лёвка поморщился опять:

– Не хочу я этого...

– Чего? – не понял Борька Носов.

– Инструмент. Аккордеон... Музыкантом быть не хочу.

– Ну и не будь. Кто тебе велит? – сказал Женька. – Тетушка насильно не заставит, если не хочешь...

– А чего ты хочешь? – спросил я, потому что до той поры мы делились планами на будущее не решались. Любая откровенность могла показаться хвастовством. Я думал, Лёвка и сейчас промолчит. Но он...

Он откинулся спиной к забору, оторвал от штанины репей, бросил его в прыгавших неподалеку воробьев и тихо спросил:

– А смеяться не будете?

– Что? – снова не понял Борька

– Не будем, конечно, – сказал я. – Что ты, зачем мы будем смеяться?

– Честное пионерское?

– Честное пионерское, – сказали мы с Борькой одновременно. И я опять почувствовал, как у меня в груди, под левым концом галстука, радостно тукнуло сердце.

Лёвка вздохнул и признался:

– Я стихи писать хочу. Как Сандро.

Я растерянно посмотрел на Женьку, Женька на меня. Ну и придумал же Лёвка! Как Сандро!

– А ты умеешь?

– Я немного пробовал.

– Давай, – потребовал Борька.

Я тоже сказал:

– Давай читай!

Я очень боялся, что стихи будут совсем плохими, но деваться было некуда.

– Я лучше потом... – попросил Лёвка.

– Правильно, пусть потом, – обрадовался я. – Сейчас домой пора, есть охота.

Лёвка как-то странно посмотрел на меня, опустил голову и вдруг хриплым голосом стал говорить свои стихи...

Нет, меня занесло явно не туда. Напечатал страницу и лишь тогда понял – это же самый конец! А между мартовскими событиями и этим летним днем было столько всего! Вернее, должно было быть.

Кстати, здесь же, на соседнем листе, коротенький план повести. Старательно (почему-то синим карандашом) выведено название. А ниже:

1. Потеря карточек. Ноздря. Год 1946. Лёвка и я. Про охоту на голубей. Песня. Воробьи. Находка тетради, стихи. Кнабе. На берегу.

2. Мечта о горне. Сбор. Кнабе – против. Несчастье. Угроза Ноздри. Ноздря хочет к нам.

3. «Отпетые». Сандро. Экзамены.

4. Беда немного забылась. Футбол. Цирк. Сандро хочет помочь. Подарок – флотский ремень. Неудача с цирком. Тетрадка – такая же! Сандро пишет стихи.

5. Сандро долго нет. Оказывается, уже заходил. За тетрадкой? На реке. Плот. Встреча на берегу. Тимуровцы? Заготовка дров. Нужен караул. Кнабе и я.

6. Пароходы. Ночь. Олешка (Кнабе) хочет есть. Воробьи спят. Воспоминание об охоте на воробьев. «Честное пионерское?» Почти драка. Я плыву. Мясо без соли – невкусно. Лёвка приходит. Рассказ о жребии. Жратва на три части.

7. Утро. Работа. Облака предвещают грозу. Шалаш. «Отряд, становись!..» Нас принимают. Вечером – в поход. Песня. Дома у Лёвки. Аккордеон дяди Гриши. Футбол. Признание Лёвки. Лёвкины стихи... Облака.

Прочитал и сразу понял – план этот один из первых. Потом, в других планах, события перемещались, менялись, по-иному сцеплялись друг с другом. Многое совершенно забылось. Например, что такое «Неудача с цирком»? Может быть о том, как мы пытались проникнуть на представление без билетов, «на протырку»? Не помню...

Но основной ход действия восстановить все же можно.

В начале марта мой друг и одноклассник Женька Сергиенко потерял хлебные карточки. Чем это было чревато тогда, сейчас трудно объяснить даже самым бедным и безденежным людям, даже бомжам. В наше время раздобыть корку хлеба, если проявишь старание и хитрость, все-таки можно. А тогда...

Чтобы хоть как-то помочь Женьке, Лёвка предложил мне пойти к загородной мельнице и настрелять голубей. Он слышал где-то, что из голубей получается вкусное жаркое.

Опыта охоты у нас не было никакого. Но... раз надо, значит надо.

Ситуация, кстати, напоминает ту, что примерно в те же студенческие времена я описал в рассказе «Похлебка с укропом». Но там дело действие происходит в жарком августе, а здесь – в марте.

Мы двинулись вдвоем, Женьке даже не сказали. Сперва попробуем – каково оно, голубиное блюдо, а потом уж будем угощать...

Я и Лёвка шли, и меня слегка грызла виноватость. Словно мы идем на нехорошее дело. А почему нехорошее? Мы шли на честную охоту, чтобы раздобыть пищу. Это ведь не ради дури и азарта лупить по мелким птицам, что скачут по заборам...

Чтобы заглушить виноватость, я сказал:

– А какие там голуби? Белые?

– Сизые. Дикие не бывают белые.

– А ручные бывают сизые?

Лёвка задумался. Ручных голубей мы никогда близко не видели, не было их в нашем городе. В те годы людям, видимо, было не до развлечений.

– Нет. Наверно, не бывают, решил Лёвка. – Я, по крайней мере, не слышал...

Мы свернули на улицу Пушкина, перелезли через забор старого сквера. Вокруг лежали пласты серого ноздреватого снега. На ветру качались мокрые ветки тополей. Небо казалось желтым от невысокого солнца, и по нему плыли клочковатые облака. Я посмотрел на них и вспомнил слова «облачная высь». Когда я смотрю на облака, я всегда что-нибудь вспоминаю.

– Лёвка, – сказал я. – Ручные голуби тоже бывают сизые.

– Не бывают.

– Бывают. Помнишь песню? Про мальчишку-голубятника, которого немцы убили? «Голуби вы сизокрылые, улетели в облачную высь...»

– Верно, – вздохнул Лёвка. – Как это я забыл? Раз сизокрылые, значит, сизые.

Некоторое время мы шли молча, потом Лёвка стал насвистывать песню. Он здорово умел свистеть. Я так никогда не мог научиться.

*Голуби мои вы милые,
Улетели в облачную высь.
Голуби вы сизокрылые.
В небо голубое унеслись...*

Лёвка свистел и свистел, пока мы не прошли весь сквер...

*Голуби мои вы милые...
Улетели...*

– Лёвка, неохота мне на мельницу, – сказал я. – Давай воробьев настреляем.

Лёвка сразу остановился.

– Какой *он* смешной! *Он* собирается есть воробьев...

– Ну, попробуем. А что? Все равно мясо... Давай?

У Лёвки, видимо, тоже пропало желание охотиться на голубей.

Мы размотали рогатки. Воробьи кричали и ссорились в голых ветках желтой акации и не ждали беды...

Здесь эпизод обрывается. Я не помню, удалось ли нам подстрелить хотя бы одного воробья, но знаю, что там же в сквере, в ответ на Лёвкины сомнения, должен был я признаться со смущением («ты только никому не говори»), что я уже ел воробьев. И не ради игры или баловства, а всерьез, на обед. И это не фантазия автора, а горький опыт моего послевоенного детства.

Голод в этом детстве сопровождал меня постоянно. И не только меня, а всех в нашей семье. Осенью сорок шестого (а не весной, как в повести) оказалось, что еды в доме никакой, кроме ежедневных хлебных пайков, за которыми стоишь в очереди по несколько часов,

а потом мама делит их на ломтики, чтобы растянуть на весь день. Отчим обещал, что скоро поедет на утиную охоту, вернется с добычей, и тогда мы заживем. Но почему-то поехать он мог не раньше, чем через полмесяца. А пока... Вот тогда-то и появилась у отчима мысль пойти с ружьем к загородной мельнице и настрелять голубей. Он, ссылаясь на французских писателей (в том числе на Дюма), говорил, что голубиное жаркое за границей считается деликатесом.

Мама, измученная голодом и тошнотой (готовился появиться на свет мой братишка), махнула рукой: *делай, что хочешь...*

Отчим предложил мне отправиться с ним, но я сказал, что задали много уроков. А на самом деле я боялся близкой ружейной пальбы. Да и смотреть, как убивают птиц, не хотелось, хотя о голубином жарком думал, пуская слюнки...

Отчиму не повезло. Ни одного голубя у мельницы он не увидел (а может, и видел, но промазал). И все же он вернулся с добычей. Вывалил на пол из промокнувшего под дождем ружья груду битых воробьев...

— Ты с ума сошел? Зачем это? — слабо сказала мама.

Отчим угрюмо ответил, что можно есть и это. Мол, в Ленинграде, в блокаду, ели и не такое...

— Завари их кипятком, тогда перья слезут...

Мама не спорила. Вскипятила на примусе воду в эмалированном тазу.

Потом я чистил воробьев. Слипшиеся перышки легко отделялись от крохотных костлявых тушек. Я сидел на полу у таза, сверху светила сорокаваттная голая лампочка — единственная в нашей фанерной комнатухе. Мама сидела на кровати, привалившись плечом к железной спинке с тусклыми медными шариками. Маме опять нездоровилось, помогать она не могла. Отчим устроился у стола со своей любимой книжкой «Описания знаменитых боев в мировом боксе» и время от времени давал мне советы.

У меня скребло в горле. Не от жалости к воробьям — в них я сейчас уже не видел недавних живых пичуг, — а от жалости к маме, к себе, от общей беспросветности. Я не верил, что вот эта мешанина из птичьих трупиков, и пропитанных горячей водой перышек (они липли к рукам, к свитеру, к лицу) может превратиться во что-то съедобное...

Отчим начал отделять волоконца воробьиного мяса от косточек. Складывал их в миску.

Из этого мяса он соорудил для мамы и для меня что-то вроде паштета. Посыпал зеленым луком, добавил остатки картошки, посолил. И... мы съели этот ужин, как вполне нормальное мясное блюдо. Ни у меня, ни у мамы не было ни капельки отвращения. Мама даже вспомнила, что французы едят лягушек и еще похваливают. Я же сожалел только об одном: плохо, что «воробьиного ужина» оказалось меньше, чем хотелось бы (хотя, когда чистил, казалось, что воробьев ужасно много).

Отчим приготовленное им блюдо не ел, великодушно отдал нам. А сам... я и сейчас вспоминаю это с некоторым содроганием. Оставшиеся тушки вареных воробьев он целиком клал в рот и перемалывал их там вместе со скелетиками крепкими вставными челюстями. Челюсти эти ему соорудил знакомый тюменский дантист — вместо прежних зубов, настоящих и вставных, которые отчим потерял в северных лагерях (откуда спасся лишь чудом). Скелетики хрустели, серая кожа на щеках отчима то натягивалась, то собиралась складками, отражение лампочки дрожало на изломе блестящей толстой переносицы, перебитой в одном из давних (еще довоенных) боксерских боев.

Смотреть на это было жутковато. Порой появлялось ощущение, что я сам — как один из этих воробьят, беззащитный, маленький, костлявый. Но все же главным в тот момент было чувство сытости (хотя и неполной). Оно — сонливое и благодарное — сглаживало страхи. А брезгливости, я повторяю, не было ни малейшей.

Так же, как не было ее и тогда, когда отчим принес домой ободранные и застывшие на морозе тушки черно-серебристых лисиц. Он работал в конторе «Заготживсырье», в ведении которой находились пушные зверофермы. Когда несчастных лисичек лишали жизней и меха, бранные останки их полагалось выбрасывать. Отчим же решил: зачем пропадать добру?

– В Корее собак едят, как лакомство, а лисы чем хуже? Их кормят самой калорийной и чистой пищей, которой мы и не нюхали...

Мама сочла доводы мужа логичными. Лисы были пущены на жаркое, и этим блюдом угощались наши гости в ночь под новый, 1948-й год. Похваливали:

– Где вы достали таких замечательных кроликов?

Отчим врал, что выменял у сельских охотников на бездымный порох, когда был в командировке.

Я знал, что это не кролики, но наворачивал новогоднее блюдо так, что пицало за ушами...

Вслед за этим случаем вспоминается горестная история еще одной лисицы – рыжего Франтика.

Было это не то в августе, не то в сентябре сорок шестого года. Отчим сказал, что у его знакомых появился лисенок, которого охотники нашли в лесу.

– Давайте возьмем себе, пусть живет вместо собачонки. Славке будет развлечение... Хозяйка отдадут, они мне кое-чего должны...

Я запрыгал от радости.

За лисенком пошли мама и я. Его владельцы жили в Андреевском поселке, в ту пору это была окраина Тюмени, за железной дорогой. Помню, что стоял теплый лиловый вечер. Мы шагали через множество рельсовых путей, от которых пахло просмоленными шпалами. Над стрелками уютно светились желтые и синие фонарики. Интересно и даже сказочно. Однако сказку перебивал страх. Я был трусоватое дитя, и мне казалось, что на нас может наскочить неожиданно подкативший паровоз. Поблизости не было ни одного локомотива, они добродушно пыхтели и пускали пар в отдалении, но я все равно тянул маму за руку: скорее...

А на обратном пути я уже не думал о страхе. На руках у меня сидело существо, похожее на остромордого щенка. Оно доверчиво тыкалось мне носом под мышку. Было тогда лисенку около двух месяцев.

Я предложил назвать рыжего приемыша Франтиком. Такое имя было у лисенка из книжки «Ребята и зверята», которую я очень любил. Скоро, правда, выяснилось, что Франтик не лисенок, а лисичка, но прежнее имя у нее так и осталось. С неделю я забавлялся и резвился с Франтиком постоянно. Как с настоящим щенком. Потом это, конечно, слегка наскучило. Тем более, что лисенок стал показывать зубки и несколько раз цапал меня за руки не шутя. Он рос. В конце октября отчим сказал, что «зверя» пора переселить на улицу, в конуру, где раньше обитала собака наших квартирных хозяев (мы снимали тогда комнатку в частном доме на Смоленской улице). Я пытался протестовать:

– Франтик замерзнет зимой!

Отчим ответил, что я говорю чушь. Лиса – дикий зверь, мех ее приспособлен к холодам. От морозов он становится лишь пушистее и гуще.

Эти слова зародили в моей душе первое подозрение, но я прогнал его. Разве может быть «такое»!

На цепи Франтик стал быстро дичать. Оно и понятно: даже собаки при такой жизни теряют добродушие, а здесь-то – лесное существо! Существо это быстро превратилось во взрослую лису. Оранжевый мех ее действительно стал густым и красивым, а характер сделался, как у сатаны. Когда кто-то приближался, Франтик скалил зубы и взла-

ивал – не по-собачьи, а сипло и дико. Я, конечно, теперь и не думал соваться к нему. Мама, чтобы покормить Франтика, придвигала к нему миску с остатками нашего супа и каши палкой. Однажды мама все же не убереглась и лисьи зубы вцепились ей в запястье. Помню руку залитую густой кровью, потом пропитанную йодом вату и марлю. И свои отчаянные слезы:

– Мама, а у тебя не будет заражения?!

Заражения не случилось, но с повязкой мама ходила долго. А для придвигания миски была найдена другая, более длинная и крепкая палка, которую Франтик измочалил яростными укусами.

В эту палку Франтик и вцепился последний раз в жизни, когда отчим пошел кончать его. К тому времени я знал, что судьба Франтика предрешена. И причиной было вовсе не его одичание. Отчим признался мне, что лисенка с самого начала выкармливали с этой целью – вырастить, снять шкуру и сдать на заготовительный пункт. У меня к Франтику не осталось никаких чувств, кроме страха, и все же я пытался слабо протестовать. Это же, мол, нечестно и несправедливо: взяли зверя вместо собаки, а теперь... Отчим только хмыкнул.

Мамы дома не было. Я не хотел видеть все «это», но какая-то сила вытолкнула меня на крыльцо. Отчим подошел к конуре, умело сунул в зубы вмиг остервеневшего Франтика палку, опрокинул его на бок. Наступил на лисью грудь громадным подшитым валёнком. Рыжий зверь на сером мартовском снегу задержал лапами. Я убежал в комнату, уткнулся в подушку и набросил на голову ватник.

Потом я услышал как отчим вошел и уронил на пол, что-то тяжелое. Сквозь ватную глухоту я разобрал его слова:

– Не реви, ему не было больно. Он будто уснул, вот и все...

Я вскочил, схватил шапку и с ватником на плечах убежал из дома, чтобы не видеть, как отчим снимает с Франтика шкуру.

– Будь ты проклят, сволочь фашистская, – шептал я, глотая слезы.

...Но вот ведь слабость человеческой натуры. Жалость к Франтику и ненависть к отчиму не мешали мне через день с аппетитом лопать пельмени из белой муки, которую отчим получил на базе в счет оплаты за лисий мех. А много позже (после новогодних «кроликов») у меня мелькнуло подозрение: может быть, и начинка пельменей не обошлась без Франтика? Впрочем, это лишь догадка.

Должен сказать, что за Франтика я злился на отчима не очень долго. Тем более, что продукты были нужны для усиленного питания мамы – ей вскоре предстояло отправиться в роддом.

Другая, более поздняя история, сохранила у меня непримиримость к отчиму навеки.

Я уже писал в какой-то повести, что он убил мою кошку. Но упоминал об этом коротко, несколькими строчками.

Он убил ее за то, что она пробиралась в кладовку и грызла там привезенную с охоты замороженную лосятину. Узнал, что за ней водится такой грех, и холодно сказал:

– Еще раз увижу – пришибу...

Ни я, ни мама не приняли этих слов всерьез (мало ли чем грозил «этот псих», когда накатывало скандальное настроение). Но он действительно поймал мою Муську и размозжил ей голову о косяк.

Мой братишка (его родной сын) со слезами схоронил кошку в логу, под сырыми пластами мартовского снега, когда я еще не вернулся после школьных занятий.

Я вернулся, и братишка рассказал...

Муську я любил и она меня любила. Играла со мной, встречала, когда приходил из школы, укладывалась рядом, когда ложился спать...

Мне был шестнадцатый год и я, кажется, последний раз плакал тогда ребячьими слезами. Отчиму я ничего не сказал. Я сидел на тахте и смотрел на стену, где висела двухствольная «тулка». Понятное дело, что отчим предусмотрительно спрятал в сундук, под ключ, коробку с боеприпасами, но у меня в тайнике за книгами лежали два охотничьих патрона.

Когда пришла мама, я сказал спокойно и убежденно:

– Я убью его.

В тот момент я знал, что смогу сделать это. По крайней мере, наведу стволы и нажму спуск.

И мама поняла, что я смогу.

Она не стала ударяться в панику и слезы. Не стала умолять меня «не делать глупостей» и пытаться помирить с отчимом. Ровно, неторопливо, устало даже она стала говорить, что будет после этого. Ну, моя сломанная судьба, колония, уголовное будущее – это понятно, я, видимо, к этому готов. Но без отца останется мой братишка. Простит он мне это? Ладно, пусть даже простит, но жизнь-то его будет скомкана. А ее, мамина жизнь?

Едва ли у нее в то время оставалась еще какая-то любовь к мужу – скандалисту и пьянице. Но вдовье нищенское существование и двое детей, один из которых в тюрьме, а второй – малолетка...

– Ладно... – сказал я. И заплакал снова...

С той поры отчим почти не говорил со мной. Я с ним тоже. Он смотрел на меня ощетиленно и воровато. А осенью, когда мне исполнилось шестнадцать, постарался даже «спихнуть» меня из дома:

– Пусть идет куда-нибудь в общежитие.

Я получил паспорт и должен был прописаться в своей квартире, как взрослый жилец, а отчим спрятал домовую книгу. В самом деле, что ли, думал, что я пойду искать общежитие? Я пошел в городскую прокуратуру. Меня приняли быстро и выслушали с пониманием. В тот же день отчим был вызван туда повесткой и, судя по всему, получил крепкую вздрючку. Потом он громко жаловался, что я «поступил не по-товарищески» и что можно был решить семейный спор, не вынося сор из избы. Я слушал молча и думал: «Ты ведь живешь только благодаря случаю: мама вовремя сказала нужные слова, а у меня хватило ума послушать. Могло быть иначе...» При этом я держал у груди и гладил кота по имени Рыжий – Муськиного сына. Знал, что этого моего любимца отчим не посмеет тронуть ни при каких условиях...

Потом я уехал в университет и с той поры бывал в Тюмени только на каникулах. Отношения с отчимом были ровные, он видел во мне теперь взрослого человека, журналиста. Порой мы даже распивали вместе бутылочку. Но Муську ему я так и не простил.

...Я понимаю, как далеко увели меня воспоминания от сюжета с охотой на воробьев. Но в этих воспоминаниях – те же чувства, с которыми я придумывал повесть «Облака возвращаются с запада». Ощущение печали, незаслуженных детских обид, голода и послевоенного неуют.

Но ведь было и другое! Были радости детства и крепкие друзья, и это в те времена (да и потом, всю жизнь) казалось главным.

Я путаюсь теперь, пытаюсь восстановить в памяти содержание ненаписанной повести. И вспомнить все не могу. Да это и неважно. Главное там было то, как из очень разных мальчишек послевоенной поры складывался крепкий дружеский экипаж, и как дружба эта была сильнее невзгод.

...Помню, что следующая глава должна была называться «Сумка». В мартовском талом снегу мы с Лёвкой нашли кирзовую полевую сумку – потрепанную и размокишую. В

ней оказалась всего лишь одна тетрадка – толстая («общая») и почти чистая. Лишь две страницы были исписаны неизвестными нам стихами.

Мы присели на мокрую лавочку и сдвинули головы над тетрадкой.

– Стихи... Про что это?

Лёвка пожал плечами: читай мол, сам.

Почерк был с быстрым наклоном, некрасивый, но разборчивый. Мы с Лёвкой зашевелили губами...

Разные бывают облака.
У одних дорога нелегка,
А другие, улетев высоко,
Солнцем наливаются, как соком.

Им спокойно в синей высоте.
Только вижу я во сне не те.

Вижу те, что ветер днем и ночью
Гонит с неба, разрывает в клочья.
В сером небе не найти им места,
Не уйти от ярости норд-веста...

Потом были стихи про море, про волны, про одинокий маяк, но мы, быстро прочитав их, не сговариваясь, вернулись к первым, про облака. Они показалось самыми лучшими.

– Интересно, кто сочинил... – сказал Лёвка.

Я пожал плечами: разве узнаешь теперь?

Но мы узнали.

Не помню уже в деталях, как развивался сюжет, но оказалось, что тетрадка принадлежит девятикласснику Саше Баруздину – известному в школе баянисту, неизменному участнику школьных концертов. Зимой на Баруздина в сквере напала шпана, его крепко побили, сумку сорвали с плеча и убежали с ней. А потом, видимо выкинули за ненадобностью. Но это выяснилось не сразу. Может быть, никогда бы не выяснилось, если бы Баруздин не сделался вожатым отряда в нашем пятом классе.

Однажды в апреле наша «классная» Галина Григорьевна велела нам остаться после уроков и кого-то позвала из коридора. И вошел этот девятиклассник-баянист.

– Ребята! Это ваш новый вожатый Саша Баруздин, – сказала Галина Григорьевна своим круглым голосом. – Он будет заниматься с вами пионерской работой не только в учебное время, но и в каникулы. С теми, кто никуда не уедет из города...

Ребята зашумели: Баруздина все знали. Только звали его не Сашей, а Сандро. Наверно, за черные волосы и нос с горбинкой, как у грузина.

– Привет, Сандро! – крикнул Ноздря.

– Носов! – сказала Галина Григорьевна. Почему-то все засмеялись. Сандро тоже...

(Потом в моей повести «Валькины друзья и паруса» появился вожатый с таким именем. Но он был не тот Сандро, не школьный – старше, опытнее. Так что одинаковость имен можно считать просто совпадением.)

Сандро никакой пионерской работы с нами не вел. Но иногда приходил к нам после уроков с баяном и пел песни. Чаще всего это были знакомые (и любимые нами) песни недавней военной поры. Но иногда – незнакомые. Чаще всего эти песни были про море. И вот однажды мы услышали спетые под незнакомую мелодию строчки про облака. Те самые, что в тетради.

На улице, когда Сандро шагал домой, Лёвка, Женька, Кнабе и я догнали его. (Сашки Регена с нами не было, он сильно кашлял и не ходил в школу).

Я протянул тетрадку: «Твоя?».

Сандро смутился, но не стал отпираться. Только спросил: «Где нашли-то?»

Я рассказал. Лёвка добавил:

– Сумка тоже у нас. Завтра принесем...

– Да сумка-то все равно утиль... – неловко сказал Сандро. – Я только вот что попрошу... – И замолчал.

– Что? – наконец поторопил его Кнабе, самый деликатный, но и самый нетерпеливый.

– Вы про тетрадку никому не говорите, ладно?

– Ладно, – согласился за всех Лёвка. И тут же спросил: – А эти стихи в тетрадке, ты сам сочинил, да?

– Да, – буркнул Сандро и тяжело засопел. – Только вы никому...

– Само собой, – сказал Женька. Но, видимо, его обещание показалось Сандро не слишком весомым. И он потребовал более прочной гарантии:

– Честное пионерское?

– Честное пионерское, – тут же сказал Кнабе, видимо, машинально. И виновато понурился на ходу. Сандро ждал того же от остальных. И Лёвка объяснил, пряча досаду под «одесской» тональностью:

– А мы не можем давать такое честное. Вы спросите: с какой стати? Есть причина? Так и да. Мы не вступали в славные ряды...

– Почему? – искренне удивился Сандро.

– Рылом не вышли, – сказал Женька.

Женьку в третьем классе, когда в пионеры принимали почти всех, не приняли за какое-то хулиганство. Я в ту пору болел скарлатиной, а потом вопрос о приеме никто больше не поднимал (о, неповоротливая система школьной бюрократии). Почему в пионерах не был Лёвка, я не знал. Но, возможно, именно эта «беспартийность» была одной из причин, которая соединяла в классе нас троих.

А ведь хотелось в пионеры!

Более поздним поколениям уже ничего не объяснишь и не докажешь. Стараниями нынешней публицистики пионеры давней поры представлены такими болванчиками, вроде гипсовых горнистов в замусоренных скверах. Они слушались учительниц, старательно собирали металлолом, помогали старушкам, хором декламировали речёвки, хрипло трубили в помятые фанфары и не были способны к самостоятельным делам и суждениям. Из них воспитывали «верных ленинцев и помощников коммунистической партии». Кому теперь объяснять, что многое было вовсе не так? Кто станет это слушать в наше время, когда один за другим закрываются детские клубы и открываются казино и клубы «сексуальных меньшинств»?

...А мы мечтали о красных галстуках, как о символах иной, более чистой жизни. Она, эта жизнь, как бы позволяла сделать шаг на ступеньку вверх – из нашего привычного дворового бытия с его играми в «чичу» и в «пристенки», неприличными анекдотами, блатными песенками и шастаньем по чужим огородам. Нельзя сказать, что это бытие нам не нравилось, но порой душа просила одухотворенности и простора для благородства и подви-

гов. Хотелось ясности и честности отношений, доверчивого товарищества между всеми, когда нет боязни насмешек и злобной задиристости. Хотелось походов, костров, веселой маршировки под барабанную дробь, когда барабанищик – твой хороший приятель, сосед по парте, и в шеренгах – тоже все друзья-приятели, не дадут никого никому в обиду. Один за всех. Все за тебя...

Порой ведь так и бывало: и костры, и походы, и сигналы барабанищика, и хорошие песни у костра, когда ты веришь, что все сидящие рядом – самые замечательные люди...

А еще были память и знание о пионерах, совсем недавно доказавших верность красному галстуку кровью и жизнью. О пацанах – по возрасту таких же, как мы, – которые воевали, рисковали и умирали, как взрослые. Сыны полков, партизанские разведчики, юнги бронекатеров... Это потом, через много-много лет нашлись те, кто стал писать и говорить о таких ребятах с ухмылкой. А мы-то, мальчишки сороковых годов, знали, что все это – чистая боевая правда.

И герои повести «Облака возвращаются с запада» знали это твердо.

И даже в обычной жизни уличных и дворовых компаний давали себя знать некоторые «пионерские» понятия, они вплетались в неписанные кодексы ребячьего сообщества. По крайней мере, «честное пионерское» считалось нерушимым. И даже шпана не решалась хихикать над человеком в красном галстуке, если он вдруг отдавал салют проходящему по мостовой солдатскому строю. А перед дракой один на один (других тогда честный ребячий мир и не признавал) ее участники свои галстуки непременно снимали – дабы не запятнать их непионерским поведением.

Надо сказать, что почтение к красному галстуку испытывали и взрослые. Хотя иногда это выражалось издевательски. Я имею в виду отца Кнабе, известного в городе врача Стальского. Да, был он известный и с весьма представительной, интеллигентной наружностью дядя, а все равно гад (Лёвка, Женька, Сашка и я были убеждены в этом). Своего сына он учил хорошим правилам жизни не только словами, но и тонким резиновым шлангом от стетоскопа. И перед тем, как заставить Олега снять то, что мешало воспитательной процедуре, он говорил: «Сними сначала галстук. Неприлично наказывать человека, на котором частица красного знамени»... Кнабе сам рассказал нам об этом в минуту горькой откровенности, когда мы были уже так дружны, что ничего не скрывали друг от друга.

Именно страх за Кнабе (которого мы все чаще звали не этим прозвищем, а Олежкой) помешал нам стать пионерами в конце учебного года.

Я излагаю этот случай не теми словами, что в тетради, потому что там – каша из отдельных фраз, поправок, зачеркиваний. Но, в общем-то, близко к намеченному содержанию...

Был май, и была контрольная по арифметике (теперь сказали бы «по математике»). Возможно – не простая, а за четверть, или даже за год. Эту нелюбимую всеми нами науку преподавала Галина Григорьевна. Мы решали написанные на доске «варианты», а она ходила между партами и смотрела, чтобы не списывали. Задача и примеры оказались не трудными. Все мы более или менее справлялись. Кроме Ноздри. Он то и дело махал над плечом растопыренными пальцами, что означало сигнал бедствия.

Конечно, был Ноздря порядочная скотина, но существовали тогда железные правила, по которым следовало в такие вот отчаянные минуты помогать любому. Кнабе (Олежка Стальский), видимо, раньше других управился со своим вариантом. Он что-то быстро написал на промокашке, скомкал ее и бросил в сторону Ноздри. Розовый комок не долетел. А опытное Галинино ухо уловило еле слышный шорох. Она обернулась и кошачьим движением подняла комок с пола.

Оглядела всех. Сказала:

– Кто?

Кнабе сжался. Видимо, папин призрак навис над ним во всей его безжалостности. Лёвка сообразил первый:

– Это я... – Он довольно развязно поднялся из-за парты.

– Это я! – пришлось подняться и мне (а куда деваться-то?).

– Это мы, – сказал Сашка, который сидел рядом со мной. – Мы вместе решали...

И конечно, тут же вскочил Кнабе – благородство пуще страха! (черт бы его побрал с этим благородством и правдивостью!)

– Галина Григорьевна, это не они, это я!

– Сядь, Стальский, – поморщилась Галина. – Твое чахлое великодушие в данном случае неуместно...

– Но правда же я!

И ведь в конце концов он мог убедить математичку!

Тогда Лёвка сказал с ленцой:

– Он таки врет. Он берет на себя, потому что боится, что нас за это девятого мая не примут в пионеры...

Мы потом крепко накинулись на Лёвку за такие слова. Но он оправдывался: иначе, мол, Галина не поверила бы нам. И, скорее всего, он был прав... А сейчас Галина поверила! Или ей просто было лень разбираться. Она всем нам велела сесть и сказала, что удалять с контрольной нас не будет, хотя стоило бы выгнать и вляпать двойки. Но в пионеры нам соваться с таким поведением и в самом деле нечего...

Тогда пионерскими делами (как и во все последующие времена) заправляли в школах учителя и завучи. Поэтому сразу стало ясно, что ситуация наша такая, когда говорят: «Настроение бодрое, идем ко дну»...

Дело усугубил Женька. Заявил тут же, что в таком случае он тоже не будет вступать в пионеры, потому что с нами поступают несправедливо. Естественно, Галина лишь разозлилась пуще прежнего и пообещала, что «Сергиенко сейчас вылетит отсюда пулей, а решать будет в августе...»

На перемене Кнабе устроил нам скандал. Даже со слезами. С какой стати, мол, мы сунулись со своим заступничеством! Вон как себе навредили! Лёвка наконец велел ему заткнуться. Потом мы ругали Женьку – его-то кто дергал за язык? Тогда Женька посоветовал заткнуться нам. А еще посоветовал очень умную вещь: пойти к Сандро и все рассказать ему без утайки.

И мы пошли. И Сандро выслушал. И сказал, что попробует заступиться, только «вряд ли эта корова послушает».

«Корова» не послушала. Сбор девятого мая прошел без нас. Но на следующий день Сандро встретил нас после уроков и сказал: «Не все патроны еще кончились, парни. Может прорвемся...» И мы приободрились. А еще Сандро сказал, чтобы мы обратили внимание на Ноздю.

– Вам не кажется, что на вашу компанию он поглядывает, словно подойти хочет да боится?

Мы такого не замечали.

– Это из-за того, что Олежка его на контрольной хотел из дыры вытащить? – хмуро сказал Сашка.

– Да нет, по-моему, это еще раньше...

Мы не стали продолжать разговор. На фиг нужен нам этот Ноздря с его блатными ухватками. (Кстати, за контрольную он все же получил трояк с минусом).

А потом пришло лето...

Это было второе мирное лето. Стояли безоблачные дни, и теплый ветер носил по переулкам тополиный пух. Этот пух щекотал лица, липнул к губам. Он был всюду: ложился светлыми полосками на траву вдоль заборов, плавал высоко-высоко в очень синем небе. Потом тополя отцвели, а в сквере у низкой кирпичной изгороди распустил красные цветы куст шиповника.

В сквере стояло круглое здание цирка. Этим летом впервые после войны ожидали его открытия. Ветхий деревянный цирк был сплошь оклеен афишами и походил на старый, потемневший от времени корабль, который украсили сигнальными флагами в честь близкого праздника.

Внутри цирк ремонтировали. Там работали плотники и маляры из пленных немцев. Но большой заросший сквер никто не расчищал и никто не мешал нам устраивать здесь свои игры.

Недалеко от того места, где рос шиповник, среди кустов желтой акации громоздилась куча камней и битого кирпича. На самом большом камне Женька написал: NO PASARAN! Здесь не раз отбивала атаки наша интербригада.

У нас было много разных игр. Но прежде всего я вспоминаю эту «баррикаду» среди кустов, солнечные пятна на оранжевых кубиках битого кирпича и колыхание высокой травы, в которой залег, приготовив бомбы из сырого песка, наш неприятель. Мы ждем атаки. Неудобно лежать на острых камнях, и сверху печет солнце, но мы лежим и ждем. Слева от меня устроился Лёвка Штейн. Он нахлобучил на глаза большую, не по размеру, пилотку и лениво жуёт травинку. Справа – Женька Сергиенко. Несмотря на жару, он перетянул рубашку широким краснофлотским ремнем...

Об этом ремне в повести должен был появиться отдельный сюжет. Ремень подарил нам Сандро. Мы по очереди носили этот широкий кожаный пояс с «якорной» бляхой, которую ежедневно надраивали кирпичом. Но деталей этого сюжета я не помню, а придумать сейчас не хочу...

Сашка Реген снял с себя майку, скрутил жгутом и завязал вокруг живота. Кепка у него на затылке, козырьком назад. В щель между кирпичами Сашка воткнул перед собой деревянный кинжал. На правом фланге за камнями примостился Кнабе в своем зеленом костюмчике. Костюмчик основательно полинял и украшен сзади двумя заплатами. Кнабе держит под рукой тяжеленный «фугас» – большую банку из-под американской тушенки, набитую пылью. Всем ясно, что Кнабе дальше пяти шагов не кинет такой снаряд. Но с этим оружием он чувствует себя спокойней...

Иногда мы встречали в сквере Ноздря. Его брат устроился в цирке прожектористом, и Ноздря теперь всем обещал бесплатные контрамарки.

Нам при встречах он нерешительно говорил «здорово...» Можете, мол, не отвечать, но я все же благодарен за попытку прийти на помощь. И не друзья-приятели мы, конечно, однако все же одноклассники и теперь уже не враги... И мы снисходительно кивали или даже бросали: «Здорово, Нос...» Помнили разговор с Сандро.

И однажды Ноздря сказал:

– Вы... это... вот начнутся представления, и если охота будет, то скажите... я это...

– Ладно, – снизошел наконец до ответа Лёвка. – Если ты это, то мы это...

Но я отвлекся. Я ведь рассказывал, как мы защищали баррикаду.

Против нас сражались пацаны с улицы Челюскинцев, и было их больше, чем нас.

Мы держались «до последнего патрона». Мы израсходовали все песочные бомбы, и Кнабе швырнул свой фугас. Конечно, он не добросил его до «челюскинцев», которые двинулись на штурм нашего укрепления. И чуть не заревел от обиды.

– Мне нечего кидать! – крикнул Кнабе.

– Не скули, – сказал Женька. – Всем нечего кидать. Вечно ты ноешь...

Сашка повернул козырьком вперед свою перепачканную в боях кепку и вытащил из кирпичей деревянный клинок.

Мы поняли, что пора подыматься в контратаку.

И в это время нас со спины окликнул Сандро...

Дальше ход событий я могу восстановить лишь коротко, по сохранившимся мелким наброскам, отдельным абзацам.

Кстати, на одной из страниц – первоначальное название задуманной повести: «Орден цветущего шиповника». И рисунок: черная свастика, рассеченная деревянным ребячьим мечом (о, почти детская непосредственность и патетика романтического автора-студента, еще не забывшего горячие партизанские игры школьной поры!)... И еще рисунок – на отдельном, вложенном между страниц листке: замахнувшийся большущей банкой-гранатой Кнабе (Олежка!). Весь в отчаянии последнего, безнадежного боя...

Впрочем, сейчас я не про это. Я про то, о чем сказал нам в сквере Сандро. Оказывается, бригада старшеклассников работала за городом на заготовке дров для госпиталя, в котором до сих пор залечивали раны инвалиды, солдаты недавней войны, и этой бригаде нужна была помощь. Большие ребята на берегу реки пилили бревна приткнувшихся к земле плотов, кололи кругляки на поленья, а те, кто помладше, должны были укладывать дрова в поленицы. Ну и делать всякую мелкую работу, помогать при погрузке, когда приходят машины.

Нельзя сказать, что мы пришли в восторг от такого предложения. Женька сказал:

– Ни фига себе, вкалывать в каникулы...

Сандро сказал в ответ:

– Парни, это же для раненных. Люди за нас кровь проливали...

В то время это был аргумент.

Ну и кроме того... чем плохо-то? Река рядом, обед, сваренный на костре, азарт общей работы. Пожалуй, это не менее интересно, чем бои на игрушечной баррикаде. А пользы больше не в пример. И... какая-то причастность к боевым делам недавней войны...

Мы уезжали на берег у пригородной деревеньки Ольховки утром и возвращались около шести вечера. И однажды случилось так (подробные причины не помню) что кому-то надо было остаться на берегу на ночь, караулить дрова. Деревенские жители не прочь были поживиться за счет топливных запасов, приготовленных для госпиталя. Сейчас мне уже трудно объяснить, почему вышло так, что из старших остался только Сандро. Главное, что остался. И наша компания – с ним. В том числе и Женька Носов по привычке именуемый Ноздрей.

Только Кнабе не остался. Днем ему родители еще кое-как разрешили участвовать в общей работе, но чтобы ночевать вне дома – об этом и думать нечего. Он с горечью признался нам в этом (и опять намokли у него глаза). Мы утешали его, как могли.

В тот день работу закончили раньше обычного. Старшие (и Олежка с ними) уехали в город на грузовике. А мы остались сладко бездельничать. Искупались...

Сандро и Ноздря бродили среди дровяных штабелей, а Лёвка, Сашка, Женька и я лежали на песке и смотрели, как в небе проплывают маленькие желтые облака.

– Какие быстрые, – сказал я.

– Облака? – спросил Сашка.

– Ну да. Быстро летят...

– Облака-облака, солнце жарит вам бока... – вдруг срифмовал Женька. И усмехнулся.

– А помните стихи Сандро? Тоже про облака, – вдруг сказал Лёвка. – В той тетрадке, что мы нашли весной.

Я помнил, но промолчал. Тогда Лёвка проговорил:

*Разные бывают облака.
У одних дорога не легка,
А другие, улетев высоко,
Солнцем наливаются, как соком...*

Мы промолчали, и Лёвка тоже стал молчать. А минут через пять сказал:

– Пошли, искупнемся еще.

– Айда! – вскочил я...

Мы тогда не знали, что в Лёвке бродят его собственные стихи. Те, которые он еще стеснялся показать нам.

Вечером, когда солнце пряталось за рошу на том берегу, вдруг появился Кнабе. Исцарапанный (шел пешком по пустырям), сердитый и решительный. Он сказал, что ушел без спросу, только оставил дома записку.

– Папаша с тебя шкуру снимет, – высказал общий страх Ноздря. Без насмешки, с искренней боязнью.

– А вот черта с два, – сказал маленький воспитанный Олежка Стальский. – Я ему больше не позволю. Я... кусаться буду, как волк... Да им там и не до меня нынче...

– Почему? – вырвалось у меня.

– Потому что он уходит от нас, – не стал скрывать Олежка. И всхлипнул.

Мы помолчали. «Может, и к лучшему», – подумал я. Наверно, так же подумали и другие. И Олежка стал еще ближе – как бы полностью вошел в наше братство, где общим признаком была безотцовщина.

– Пойдемте чай пить, – сказал Ноздря. – Котелок уже булькает.

И мы у костра стали пить чай из солдатских кружек. А потом еще долго сидели у огня и наконец улеглись. У нас были с собой две плащ-палатки, большущие. Одну постелили на траву, другой укрылись. Договорились, что дежурить будем по очереди.

Видимо, дежурили спустя рукава, потому что ночью... Да, я понимаю, что такой ход традиционен (как и многое другое в этой ненаписанной повести), но теперь никуда от этого не деться. Короче говоря, в середине душной ночи загорелись дрова. Отчего? Кто знает... Может быть, злившиеся на нас, мальчишек-сторожей, деревенские пацаны (а то и взрослые) подпалили на дальней поленице бересту.

К счастью, огонь заметили в самом начале. Кнабе понадобилось отойти по известному делу подальше от нашего костра, а Сашка (понимая, что Олежке одному страшно-вато в сумерках) пошел следом. И они увидели среди штабелей пламя...

Описывать, как мы тушили огонь, я не буду. Черновики не осталось, а сочинять за юного автора не хочется. В общем, разбрасывали поленья, куртками сбивали огонь, таскали из реки котелками и ведерком воду... Все обошлось, если не считать кровотокающих ссадин, синяков и застрявшей в гортани горечи от дыма. Потом Сандро мазал наши царапины йодом из аптечки, которую предусмотрительно таскал в своей кирзовой сумке. Мы подвывали – наполовину шутя, наполовину всерьез. Мы считали, что после проявленного героизма (это слово сказал Сандро) можем позволить себе маленькие слабости. Только Олежка не пикнул. Он был приучен к боли. Увы, даже слишком...

Сандро сказал, что, если бы он был маршалом, то каждому тут же выдал бы по медали.

Мы договорились, что теперь до утра будем обходить всю территорию с дровами дозором. Попарно. Сашка и Олежка, Ноздря и Женька, Лёвка и я. А Сандро на всякий случай будет ходить с каждой парой. «И не вякайте, раз я сказал...» Ну, мы и не «вякали». Наоборот, радовались...

Утром на берегу появилось множество народа во главе с учителем физкультуры Борисом Борисычем. Мы отсыпались под плащ-палаткой, а Сандро в это время на чем-то велосипеде сгонял в город и вернулся.

Пришли два ЗИСа, ребята погрузили в кузова дрова, после чего было сказано, что сегодня работы больше не будет. Старшеклассники и учитель укатили домой в крытом «студебеккере», а ребят из нашего пятого (то есть уже шестого) «А» и из параллельного – «Б» – Сандро задержал:

– Дело есть... Ничего, потом пешком дотопаем...

Какое дело, он не успел объяснить, накатила гроза. Нас было человек пятнадцать, и Сандро весь народ кинул на постройку шалаша – рядом был лесок с сухостоем.

...Ветер нарастал. Он шел порывами, прижимая траву и срывая листья. Березы гудели – Хлопцы, шевелитесь! – покрикивал Сандро.

– Кажется, дело опять пахнет керосином, – проворчал Ноздря. Издалека донесся раскатыстый удар. Над головами уже летели серые косматые облака.

Сандро стал раскачивать ствол сухой березы.

– Что вы ветки собираете! – крикнул он. – Большие палки нужны! Ох и люди!..

Ему никак не удавалось обломить березу.

– Ну-ка помоги! – велел мне Сандро. Я подскочил и тоже ухватился за ствол. Сандро тяжело дышал.

– Целый отряд... не могут шалаш сделать, – сказал он сквозь зубы. – Ну и народ...

– Разве мы отряд? – удивился я.

– Конечно. Сводный...

«Мы-то все равно не... – мелькнуло у меня. – Как ни своди...»

В это время ударил ливень, и дальнейшее строительство оказалось не нужным. Сгрудившись, мы набросили на головы две плащ-палатки, по которым хлестало, как из пожарных шлангов. А кругом гремело и сверкало. Ну, прямо, как во время шторма в трофейном фильме «Королевские пираты». Кто-то вдруг тонким голоском запел «Наверх вы товарищи...» И мы подхватили. А что оставалось делать? И гроза... она, видимо, из уважения к нашей отваге снисходительно откатила и выключила ливень. И даже сделала в туче форточку, чтобы сквозь нее ударили горячие и радостные лучи...

Конечно, плащ-палатки не смогли нас полностью защитить от ливня-водопада. Даже те, кто укрывался в середине нашей тесной кучки, оказались промокшими. Мы развесили наши рубашки и штаны на ветках. А сами – коричневые, мокрые и блестящие – нервно хохотали и приплясывали, изображая папуасов...

– Отряд! – вдруг закричал Сандро. – Отряд, кончай пляски под пальмами, стройся! – Он махнул рукой, словно прочертил линию, вдоль которой должны выстроиться полтора десятка взъерошенных полуголых мальчишек.

Никого не удивило это слово – «отряд». Почти все послушно и быстро встали в шеренгу. Ведь Сандро обещал какое-то «дело»! Только мы четверо – Лёвка, Женька, Ноздря и я замаялись, переглядываясь и переступая в мокрой траве.

– Мне два раза командовать? – цыкнул на нас Сандро. И мы суетливо пристроились вчетвером с левого края. Я торопливо поправил надетый поверх трусов морской ремень...

– Р-равняйся... Смирно! – Сандро прошелся взглядом по шеренге. И стал смотреть выше голов. И сказал нарочито сухим тоном:

– Лев Штейн, Евгений Сергиенко, Дмитрий Вехов, Борис Носов... два шага вперед.

И мы, цепляя босыми ступнями мокрые ромашки, неуверенно сделали эти два шага. А тучи разошлись шире и солнце сияло всюду...

Сандро вытащил из широкого брючного кармана газетный сверток, и сквозь порванную газету алел блестящий сатин. И мы сразу поняли, что именно за *этим* Сандро утром ездил в город...

...Уже после, когда мы с алыми галстуками на голых шеях сидели у стреляющего искрами костра (сколько труда стоило развести его из мокрых-то сучьев!), Женька неуверенно сказал нашему командиру:

– Галина сожрет тебя... за это...

– Подавится, – сказал Сандро.

– А галстуки... не отберет? – непривычно робким тоном спросил Ноздря.

– Че-во? – сказал Сандро. И взгляд его на миг сделался стальным...

...Галстуки мы потом не снимали даже во время уличных игр, лишь перед футбольными матчами прятали в карманы – очень уж отчаянными бывали эти схватки...

Ну вот, а дальше – то, о чем я уже писал здесь: футбольный матч на улице, потом разговор о стихах и Лёвка, задавивший в себе великое смущение, чтобы эти стихи прочитать нам, друзьям.

Лёвка как-то странно посмотрел на меня, опустил голову и стал говорить свои стихи:

*Под ветром западным качаются
Листы и сучья тополька...
Война утихла. Возвращаются
С попутным ветром облака...*

Дальше Лёвка читал, как в сорок первом уходили на фронт эшелоны, а облака летели вслед за ними, словно хотели прикрыть поезда от немецких самолетов.

Теперь облака возвращаются. Путь их был очень длинный.

*...Он в небе разных стран пролег.
И вот встречает их на родине
Подросший тонкий тополек...*

А вслед за облаками к знакомым вокзалам подходят эшелоны. Подросшие, как этот тополек, дети встречают отцов...

И вдруг нас полоснуло, словно звоном тонкого лезвия, хотя Лёвка читал сипловато и негромко:

*Но нам не встретить. Мы научены
Живыми видеть лишь во сне
Отцов сожженных и замученных,
Отцов, убитых на войне...*

Вот и все. Дальше я ничего не написал. Не хватило умения, терпения, сил. Смелости. Перечитывая уже написанные куски, я вдруг видел, что все это – слабое, ученическое. Каза-

лось, что, если читатели прочтут это, они сморщатся и скажут, что персонажи ее – ненатуральные, выдуманные («нарисованные»!)... Потом я стал смелее. Когда меня упрекали, что «такого в жизни не бывает» и «таких ребят нет на свете», я усмехался и вспоминал шеренги своей «Каравеллы», ее черные барабаны и блеск рапир. Но это было уже через десяток лет, когда в писательских делах появился кое-какой навык, а в жизни – настоящие, хотя и сшитые ребячьими руками паруса...

А Лёвке Штейну, Олежке Стальскому, Митьке Вехову, Сашке Регену, Женьке Сергиенко и Борьке Носову по кличке Ноздря я благодарен за то, что они долгое время были рядом со мной и тем самым толкали меня к работе над другими книжками – уже доведенными до конца. Впрочем не только они, но и ребята из других незаконченных повестей...

Преодоление

В какую из незаконченных повестей ни ткнусь, там обязательно река. Моя родная Тура. Я уже писал где-то, что для меня, тюменского мальчишки, Тура была тем же, чем для катаевских Гаврика и Пети Черное море, для Тома Сойера – Миссисипи, для юного Алеши Пешикова (а не Пешкова, черт возьми, как теперь упорно талдычат даже литературоведы и учителя – видимо, не читавшие Горького) – Волга. Дело ведь не в том, насколько река «глубока, широка, сильна». Дело в том, как она (простите за пафос) омывает твою душу. В детстве не было для меня места дорожке, романтичнее и красивее, чем откосы у старого Свято-Троицкого монастыря с непролазными репейно-полынными джунглями и желтыми полосками прибрежного песка... Я молился на свою неширокую, желто-мутноватую Туру и каждую весну бросал со скрипучего моста денежку – жертву с просьбой о том, чтобы река будущим летом была ко мне милостива и добра.

Река помогла мне укреплять характер (изначально – весьма хлипкий и робкий).

Детство человека (если не каждого, то многих) – это постоянное преодоление страхов и трудностей. С самых ранних лет. Помню про себя. Надо было преодолевать ужас, когда взрослые оставляют тебя одного в пустом доме (а сумерки наступают рано, а под кроватью обитает придуманное чудовище по имени Тихо). Надо было выходить во двор, где вредные девчонки из соседнего дома грозят тебя изловить и вывалить в пыли. Надо поздними осенними вечерами возвращаться по черным, без единого фонаря, улицам из школы, а в сырой, чавкающей грязью мгле могут таиться злодеи из банды «Черная кошка»... А еще приходилось преступать через противную (просто девчоночью!) нерешительность в схватках с учителями, которые (учителя то есть) всячески попирают твои понятия о независимости и справедливости... Думаете, с возрастом легче? Этот изматывающий душу страх каждой весной, на переводных экзаменах. Эта необходимость лезть в драку, чтобы отстоять авторитет и смыть обвинения в боязливости (а душа обмирает и руки слабеют). А одиночные походы по окрестным лесам – думаете это просто? А решение отправиться в поезде через всю страну в гости к живущему в Белоруссии отцу? А необходимость с беззаботным видом сигать вниз с парашютной вышки? А... первый неумелый поцелуй в сухие и дрожащие девчоночьи губы...

Река по дружески помогла воспитывать смелость. Вернее, давала для этого возможность. «Вот тебе высоченный снежный откос, чтобы скатиться на лыжах (смотри, такие же, как ты, пацаны съезжают без всякой боязни!)». И съезжал... «А не пора ли тебе переплыть меня от берега до берега, как это делают старшие приятели?». И переплыл наконец... «А сможешь пробиться сквозь джунгли на обрыве, чтобы напасть на „вражеских легионеров“ с тыла?». И пробивался – полуголый, как воин Спартака, с деревянным мечом – сквозь безжалостный чертополох и нестерпимо жгучую «татарскую» крапиву. И нападал – во имя освобождения рабов от римских буржуев... А прыжки с высоченного водного трамплина! А плавания на парусной плоскодонке – под грозами и ветрами! А подводные заплывы под приткнувшимся к берегу плотом... И каждый раз – ощущение победы (хотя, конечно, не окончательной, а лишь на нынешний день или час)...

У автора, который пишет для ребят, главный опыт – собственное детство. Особенно, когда лет-то тебе всего ничего и другого-то опыта почти и нет. И потому в ранних моих (обычно неоконченных) повестях и рассказах темой чаще всего было именно преодоление. И почти везде была там река.

В пятьдесят девятом году я взялся за большой рассказ «Пояс Ориона». Такое название ребята дали плоту, превращенному в корабль. Тема, которую я и в дальнейшем «обкатывал» не раз. Оно и понятно: плотов на Туре всегда было множество – и плывущих за буксирами, и

стоявших в несколько рядов у берега. Запах сосновой мокрой коры всегда вплетался в запахи речной воды, сырого песка и прибрежных трав. (Мне был очень понятен и близок рассказ о путешествии Гека Финна и Джима на плоту по Миссисипи, хотя их плот – как я сообразил позже – едва ли был из сосновых бревен).

В рассказе плот соорудили не мальчишки из обычной уличной компании, а звено одноклассников. Это считалось чем-то вроде пионерской работы – в пятидесятые годы, в небольшом городке, такое было возможно. И, конечно же (не раз повторяемая ситуация) злой волею безжалостной учительницы главный герой оказался отлученным от экипажа и от участия в летнем плавании. А он столько сил вложил в этот корабль...

Это началось, когда не было мальчику еще семи лет. Началось, как чаще всего бывает, с книги, но не с захватывающих романов Стивенсона и не с «Необыкновенных путешествий» Жюль Верна, а с детского издания «Гулливера». И причиной этому была первая фраза, которой даже нет в настоящем, полном варианте книги. Валерка не ходил еще в школу и читал неважно. Несколько раз открывал он большую книгу, но терпения хватало лишь на первую фразу: «Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан...»

Фраза была неправильная – трехмачтовых бригов не бывает. Но тогда Валерка этого не знал, и слова эти казались ему похожими на строчку из песни. Мальчик часто повторял их, разглядывая на последней странице рисунок: вросший в берег якорь и за ним, в море, далекие паруса...

Шел март, Валерка сидел у окна. В голых ветках тополей горланили воробьи, за тонким слоем серых облаков плавало солнце. Потом облака чуть сгустились, ветки дрогнули, разогнав воробушков, и, морща лужи, промчался порыв пасмурного ветра. Второй порыв был сильнее, у соседей хлопнул оторванный ставень. Валерка прищуренным глазом опытного человека взглянул на флюгерок, приколоченный к забору. Фанерная стрелка, повернувшись навстречу воздушному потоку, показывала на юго-запад. А ветер, плотный и теплый, шел уже сплошной стеной, выхлестывая из луж на тротуары языки воды и слизывая остатки серого снега.

Валерка смотрел то в окно, то на рисунок в книге, лежавшей у него на коленях, и показало ему, что на картинке из пасмурной дали штрихового горизонта тоже налетает ветер и волны встают все выше, накатывают на берег. Пенящиеся гребни переваливаются через якорь, и обрывок цепи на нем качается, тихо звеня.

И захотелось Валерке на желтый от песка и черный от мокрых валунов берег, где ветры бросают в лицо охапки пены и горошины соленых брызг...

...Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан...

Любопытно, что делая столь романтические описания, я в ту пору пользовался только воображением, потому что на самом деле никогда не видел моря. Чуть позже, летом пятидесят девятого года, я побываю на студенческой практике в Ленинграде, познакомлюсь с Балтикой, а еще через год окажусь в Севастополе – городе моей мечты. А пока я знал о морских просторах не больше моего семилетнего Валерки...

В рассказе я должен был коротко, для связки между эпизодами, написать, что в четвертом классе Валерка перешел в другую школу, потому что семья получила новую квартиру.

В этом году была очень ранняя весна. Первого мая зацвела черемуха, а в середине месяца стало так тепло, что ребятишки каждый день бегали купаться.

Валерка жил теперь у самой реки. После школы он торопился на берег, где они с ребятами строили из выловленных бревен плот для будущих далеких путешествий. Плот был почти готов. Узкий и длинный, с острым бревном впереди и тонкой высокой мачтой, он

покачивался на волнах от колес проходивших неподалеку буксиров. На корме была настлана палуба из досок старого забора. Штурвал из колеса телеги с примотанными проволокой ручками казался настоящим. На рее висел свернутый в трубку парус. Его сшили из дырявых мешков. Осталось только соединить веревками рогатое штурвальное колесо с пластиной руля и придумать кораблю название.

Со штуртросами справились, когда уже над рекой загорались звезды. А с названием ничего не получалось, хотя друзья ломали головы целый день. Не было такого названия, чтобы оно нравилось всем.

Становилось темнее, ярче проступили звезды, и вдруг Юрка Васильков сказал:

– Пусть будет «Пояс Ориона».

Все привыкли к тому, что Юрка всегда что-нибудь выдумывает, поэтому не удивились.

– Помните три средние звезды в созвездии Ориона? Это его пояс... И нас тоже трое.

– Пусть лучше будет «Орион», – возразил Ромка. – Мы же строим корабль для всего звена, все будут плавать на нем.

– «Орион» – это похоже на стихотворение Пушкина, – вмешался Валерка. – Скажут, что слизали. Пусть будет «Пояс Ориона».

Далее был запланирован «разоблачительный» эпизод, когда учителя и завуч узнали о планах ребят. Те сперва-то строили корабль без разрешения. Конечно, сначала последовали грозные упреки, обещания снизить годовые оценки за поведение, жалобы родителям и тому подобное. К счастью, директор школы был неглупый и добрый (иногда встречаются такие, я даже знаком с одним). К тому же, бывший моряк, воевавший на торпедных катерах. Он уладил дело, договорившись со студентом-практикантом Аркадием Сергеевичем (в просторечии – Аркашей), что тот возьмет командование в свои надежные руки и будет руководить летним плаванием. Аркаша был «парень что надо», и такое решение не вызвало споров.

Беда случилась позже, перед самыми каникулами...

Началось как будто с пустяка: Валерка не сделал домашнего задания по арифметике. Он честно признался, что до позднего вечера читал интересную книгу и забыл об уроках.

– Я завтра обязательно-обязательно приготовлю, – пообещал он Анне Георгиевне.

– Хорошо, я проверю, – сухо ответил та.

И нужно же было случиться, чтобы на следующий день Валерка забыл тетрадь с решенными задачками.

– Придумай что-нибудь новое, – сказала ему учительница, когда он виновато объяснил ей, в чем дело, – это очень старая отговорка.

Валерку огорчила не двойка (на второй год все равно уже не оставят!). Обидел тон, которыми были сказаны эти слова: «Придумай что-нибудь новое». Ведь не соврал же он! И вот ученик, о котором говорили, что он вежливый и дисциплинированный, вдруг отчетливо сказал:

– Придумывают, когда врут. А я сказал правду. Я не виноват, что вы не верите.

– Ты, кажется, грубишь? – подняла брови Анна Георгиевна.

– Я? – удивился Валерка.

– Выйди из класса.

Он пожал плечами и ничего не понял. Был последний урок, и Валерка, сложив портфель, отправился к двери.

– Портфель оставь, – приказала Анна Георгиевна.

Валерка на секунду остановился и удивленно взглянул на нее.

– Зачем вам мой портфель?.. Ведь в нем нет тетради.

Последние слова он сказал уже у двери, и учительница ничего не успела возразить.

...Его не вызывали к директору, не посылали за родителями. Все было спокойнее и гораздо хуже. На следующий день после уроков Валерку встретила старшая вожатая и сказала, что за грубость с учителями его не допустят к летнему походу по реке.

Внутри у Валерки все похолодело, и он, сгорбившись, побрел назад в класс. Там еще шумели ребята. Валерка сел на заднюю парту и стал смотреть в окно. За окном плясали на ветру молодые листья тополей.

Подошел Ромка, тронул за плечо.

— Ты чего... такой?

Валерка не выдержал и уронил голову на руки.

Он ничего не сказал ребятам. Потому что это были замечательные ребята. Не то, что в прежней школе, где Валерку дразнили «моряком с дырявой миски» и «книгоедом». Нынешние друзья просто-напросто отказались бы от плавания, когда узнали бы, что в него не пускают Валерку. Аркаша обо всем знал, но Валерка попросил его молчать.

— А перед самым походом я скажу, что не пустили родители...

Аркаша понимающе кивнул. Он, практикант, спорить с учителями и вожатой, конечно, не мог. Да и бесполезно это было...

«Пояс Ориона» был ошвартован у лодочных мостков, недалеко от деревянной лестницы, которая вела вверх по береговому откосу, почти прямо к школе. Покачивался на мелких волнах, словно ждал... Валерка приходил сюда вместе со всеми, будто ничего не случилось. Говорили о близком путешествии...

Уже сданы были все экзамены. Анна Георгиевна поставила Валерке четверки за письменную работу и за устный ответ. После устного экзамена он подумал: «Может, попросить прощения? И пусть скажет вожатой...» Они встретились глазами, и Валерка понял: Анна Георгиевна того и ждет.

А вот черта с два! Капитаны парусников, уходящих в Южный океан, не унижаются, не просят извинений, когда не виноваты...

Первое плавание должно было длиться не долго, несколько часов. За три дня до этого звено с Аркашей ушло на Веселую гору (это вниз по течению, мыс такой на излучине), чтобы подготовить там лагерь. Потом они вернутся, погрузятся на «Пояс Ориона» и поплывут к уже оборудованной стоянке... Валерка не пошел, сказал, что болит горло и его, осипшего, не отпускают. А осип он от подступивших слез...

На следующее утро, рано, часов в семь, Валерка пошел к мосткам, где стоял «Пояс Ориона». Что его, Валерку, толкнуло? Может, хотел попрощаться с кораблем без посторонних?

На плоту хозяйничал дюжий парень в галифе с сапогами и в майке, под которой перекатывались мускулы. Он не хозяйничал! Он просто громил корабль! Зачем?!

Он ломом отодрал доски палубы и теперь взял топор.

За всем за этим смотрела с мостков семилетняя Наташка, внучка школьной уборщицы тети Капы. Кажется, она плакала...

Валерка не помнил, как оказался на плоту...

— Не смейте! Не имеете права! — крикнул Валерка и схватил парня за рукав. Тот лениво отмахнулся, и мальчик отлетел, ударившись коленом о твердое, как камень, бревно. Он тут же вскочил и, проглотив слезы, хромая, снова бросился к парню, который замахивался топором на штурвального колеса. Нога парня скользнула на бревне, и он покачнулся на краю плота. Что-то словно толкнуло Валерку, и он не колеблясь ударил парня в живот головой. Плеск и ругательства разнеслись над водой. Наташка на мостках громко засмеялась.

Валерка раздернул узел на швартовом конце. Двух толчков шестом было достаточно, чтобы «Пояс Ориона» оказался в безопасности. Выбравшись на берег, парень что-то кричал, махал кулаками, но Валерка не смотрел на него. Он впервые был один на «Поясе Ориона» единственным и полным хозяином корабля.

Он знал, что делать. Потянув шпагат, мальчик развернул серую мешковину, закрепил парус и встал к штурвалу. Ветер туго натянул полотнище, и плот стал удаляться от берега. Валерка взял ручки штурвала.

Серебряная дуга реки разворачивалась перед ним. Справа, над кромкой обрыва, поблескивали окна зданий. Берег ушел далеко и казался совсем невысоким, но двухэтажные дома были раза в три ниже его зеленой стены. Слева, тоже далеко, громоздились краны и черные корпуса теплоходов, там была судоверфь. Берега распахнулись, давая маленькому капитану широкую дорогу. Узкий тяжелый плот набирал скорость под неслабеющим ветром. Он двигался, как торпеда, разбивая воду острым носовым бревном. Далеко-далеко, где левый берег поворачивал к югу, синела полоска леса. За лесом скрывалась Веселая гора, она была еще не видна. Там должно было собраться звено. И куда же еще мог вести свой корабль Валерка?.. Где он найдет защиту?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.